

**КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**
**КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТАЛЛИИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**КУЛЬТУРА РУССКОЙ ДИАСПОРЫ:
САМОРЕФЛЕКСИЯ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ**

Материалы международного семинара



Редколлегия: И. Белобровцева, А. Данилевский, С. Доценко,
Л. Киселева, Л. Пильд.

Редакторы тома: А. Данилевский, С. Доценко

Набор: С. Долгорукова

© Статьи и публикации: авторы, 1997

© Составление: Кафедра русской литературы Тартуского университета, кафедра русской литературы Таллинского педагогического университета, 1997

Сборник выходит при поддержке Фонда Открытой Эстонии и
Бюро Информации Совета Министров Северных Стран

ISBN 9985-56-298-4

Tartu Ülikooli Kirjastus / Tartu University Press
Tiigi 78, Tartu, EE-2400
Eesti/Estonia

Order no. 47

ЭРОС В ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА. ЭТИКА И ОНТОЛОГИЯ ЛЮБВИ

МАРИЯ ЦИМБОРСКА-ЛЕБОДА

Проблема Эроса, которую нам предстоит исследовать, в литературоведении последних лет осознается как особо важная для изучения русской культуры серебряного века¹. И это неслучайно: представление об Эросе определило одну из парадигм культурного сознания “русского ренессанса” XX столетия. В статье 1907 г. Николай Бердяев прямо связывает проблему Эроса и его Смысла (“Но какой Эрос?”) с религиозно-философским мировоззрением эпохи и “новым религиозным сознанием”: “Новое религиозное сознание и религиозное творчество связаны ныне с Эросом <...>”². Не удивительно, что его видные представители реагируют на факт декадентского с м е ш е н и я Эроса с эротоманией, припоминая (как это делает в одном из писем Мережковский) древнюю традицию: Софоклову “песню об Эросе, которую нельзя слушать без восторга и ужаса”³. Тем самым Мережковский (и не он один) указывает на одну из тенденций трактовки темы эроса/любви в русской модернистской литературе, о которой в свое время в “Декадентах” писал и В. Розанов.

Творчество Вяч. Иванова, “крещенное” мыслью Вл. Соловьева (“Смысл любви”), знаменует тенденцию, противоположную декадентской, а именно: стремление возвратить Эросу его исконное, Платоново значение, стремление к нобилитации “извечного Эроса Невозможного”⁴. Именно Иванов подчеркивает важность эротического начала⁵ для многих сфер духовной жизни и творческой деятельности человека. В статье о “Неприятии мира” Эрос *Невозможного* связывается поэтом с пафосом неприятия мира сего и религиозным алканием мира иного. “Эта любовь к невозможному — принцип всей религиозной жажды, всей творческой фантазии, всех порывов и дерзновений, совершившихся доныне под знанием “Excelsior”, — патетический принцип современной души” [ПЗ 122]⁶.

Внешним, но знаменательным показателем важности темы Эроса в творчестве Иванова является частотность употребления слова *эрос*. Только в пределах самой эстетико-философской мыс-

ли поэта, нас интересующей, это слово появляется в разных текстах и в разных контекстах. Оно употребляется в связи с определением природы творчества как “эротического восхождения” в статье “Мысли о символизме”, сущности символа (“творческое начало любви, вожатый Эрос”)⁷, как начала, “связующего раздельные сознания” [ПЗ 275], природы реалистического символизма (“Две стихии в современном символизме”)⁸ и символизма как такового (“Мысли о символизме”)⁹, сущности духовно-религиозной жизни России (“О русской идее”), не говоря уже о текстах, где определяется природа самого Эроса (“Новые маски”, “О любви дерзающей”) или где категория Эроса служит для выявления характера новой религиозности, этики и — в целом — философской и поэтической антропологии Иванова (“Ты еси”, “Анима”, “Человек” и др.); его концепции культуры (“лестница Эроса и иерархия благоговений”)¹⁰.

Множественность контекстов употребления понятия эрос (рядом с синонимическим употреблением слова любовь) вызывает потребность в упорядочении и установлении ориентиров, позволяющих определить все семантические оттенки понятия, и способствовать герменевтической интерпретации категории эроса в творчестве Иванова, включая его художественные произведения.

Цель настоящей статьи — попытка установления таких ориентиров путем выделения и интерпретации тех эстетико-философских текстов поэта (с учетом также некоторых художественных произведений), где категория эроса герменевтически значима. Это можно сделать путем исследования: 1) этического аспекта любви/эроса, т.е. связи эроса со сферой обязанностей — “долженствования” человеческого я; 2) онтологического аспекта (смысла) — т.е. связи эроса со сферой бытия и подлинного существования человека как личности¹¹; значит — с учетом символистского отталкивания от декадентского субъективизма и психологизма, от *mania psychologica*, заманившей личность “в сплошную зыбь противоречий и смену аффектов” [ПЗ 277], в “дробную часть мира” (Бердяев) — и общего стремления изъять любовь из сферы психологии и передать ее в область онтологии (у Флоренского, Бердяева и др.)¹².

Эрос и этика. “Эроэтика” Вячеслава Иванова

В концепции Иванова Эрос-любовь является началом “равно коренным и исходным” для сферы человеческого долженствования — этики, для сферы созидания красоты (эстетики) и для сферы религии и религиозного сознания (религиозности) в их понимании поэтом в 1906–1907 годы. Присутствие начала эроса (как пишет Иванов в статье 1907 г. “О любви дерзающей”¹³) ликвидирует обособленность этики от области религии и эстетики, восстанавливая ее цельный состав: ее связь с “ритмом красоты” и “рождением в красоте”, с религиозным ростом и религиозным творчеством человека. Тем самым для нового человеческого сознания этика оборачивается эроэтикой [ПЗ 372]¹⁴. Это становится понятным, если учесть отмеченный Ивановым факт отталкивания современного сознания от “формальной”, “поведенческой” морали в сторону “патетической” — “морали страстих устремлений духа” [ПЗ 122]. “Этика — учение об истинном Да” [ПЗ 366]. Истинное Да означает для Иванова Да нисходящее, любовно принявшее мир, другого человека и Бога, Да, содержащееся в самом акте или жесте любви, которая является ипостасью самой жизни¹⁵. “Кто не любит, мертв, — пишет Иванов. — Жизнь это любовь”. “И жизнь — свет человеков...”. “Эрос ведет за руку по своим садам Психею, планетную душу человека: таким видели Слово (Логос) художники катакомб” [ПЗ 372].

Выявляя ипостасность любви и жизни, Иванов обнаруживает этическое значение любви, любви как факта этического порядка¹⁶. Во-первых, она оказывается другой стороной “единственной обязанности” человека — обязанности жить [ПЗ 365]. Ибо “обязанность” — “связь”, как неоднократно подчеркивает поэт [ПЗ 366]. Поэтому обязанность жить как любить (или триединая заповедь Жизни: “Люби, зацинай, умирай”), спасающая от духовного омертвления (“Кто не любит, мертв <...>” [ПЗ 366]), — для Души-Психеи оказывается равнозначной обязанности подчинить себя руководству Эроса — “Вожатого жизни” — силе, управляющей духовной свободой человека.

Во-вторых, любовь в интерпретации Иванова выявляет свой этический смысл вследствие отмеченной поэтом сочетаемости Эроса с мужеством — Тимосом, полузабытой в христианском мире добродетелью “внутреннего дерзания”, “доброты искателей иочных путников духа” [ПЗ 369]. Пользуясь словоупотреблением

Иванова: если горящий Эрос является возницей “пламенной колесницы духовной свободы человека” (в пределах *истинного Да*), то Тимос оказывается “огненным конем”, влекущим колесницу. Иначе говоря, оказывается необходимым для утверждения любви мужеством; мужественным, “солнечным”,¹⁷ и волевым началом, дерзающим и принимающим опасность во имя Любви/жизни, во имя внутреннего определения этой жизни и свободы человека как Логоса¹⁸ — “как творческих лучей Логоса, которых тьма не объемлет” [ПЗ 371].

Таким образом, речь идет о дерзании/мужестве — одной из существенных добродетелей, отмеченных Платоном, — особое, христианизованное значение которого подчеркнул (в лекциях 1912 г. по антропософской морали) Рудольф Штейнер. «“Импульс Христа”, — говорил Штейнер, — пронзил Платонову добродетель мужества, подвергая спиритуализации, сделал ее “любовью”»¹⁹, — силой, направленной на осуществление назначения любви.

Подобно Штейнеру (но до Штейнера), Иванов восстанавливает платоновскую традицию. Подвергая ее христианизации (т.е. согласно “стилю восприятия” Платона в начале века²⁰), он ставит вопрос о значении мужества (“яростного духа”) как этической ценности, как — согласно Платону — “неразмышляющего устремления к благородному”,²¹ способствующего утверждению сущностной природы любви. Тем самым поэт обнаруживает, что духовные, мистико-религиозные искушения человека, его женственной Психеи-Души, движимой Эросом (“Ты еси”), который “рождает в красоте” и творит благо, — без акта *мужества* немыслимы, невоплотимы. Ибо, следя Платону (в интерпретации Тиллиха), мужество само по себе благородно, ему присущи красота и благо — вследствие того, что “в нем актуализируются благое и прекрасное”. Как “сила духа” (согласно учению Фомы Аквинского) мужество способствует одолению препятствий на пути к наивысшему благу²². Отсюда, по Иванову, “Все грани становятся ложными”, так как “живому — нет грани”, а “святая тропа”, выводящая из “мира граней”, открывается именно *дерзновенным* [ПЗ 31, 24].

Как это явствует из указанного (“О любви дерзающей”) и других текстов Иванова (ср. стих. “Ночь в пустыне”: “Душа объятия раскрыла. / Горит, и напрягает крыла, — / И волит дух мятежный: пусть / Дохнет Любовь <...>”²³), в союзе Тимоса и Эроса оба начала взаимно утверждают: “<...> любовь не знает страха <...>”

[ПЗ 400] и, вооруженная могуществом и яростью духа (“дерзящего мужества”), обличивается актом Жертвы как своим высшим воплощением, торжеством высшей, более сущностной части нашего я, над низшей, менее сущностной. Соответственно: именно в ней, творческой и жертвенной любви, утверждается солнечное и мужественное дерзание человека, становясь очагом внутреннего познания [ПЗ 376]. “Спроси, что хочет твое последнее я, и любви, как любит планета свое творящее солнце, — как любит истекающее своею жертвенную кровью, щедрое солнце <...>” [ПЗ 375].

Утверждение любви как подвига и жертвенной отдачи Другому, т.е. как этической коллизии, в которой “возникает идея добра”,²⁴ (или “свободное отречение”, подсказанное Духом [ПЗ 63]) имеется и в других текстах поэта. Связь Любви со “сверхличной областью Жертвы”²⁵ — с мифологемами “Страдания”, “древа жизни” и “мира иного” — выявляется в предисловии Иванова к драме “Кольца” (ср. “Новые маски”: ПЗ 63–64]. Идея любви как “совместного подвига и служения” актуализируется в статье “О достоинстве женщины”: “Должно смотреть на любовь и страсть как на исключительное событие жизни <...> как на подвиг <...>” [ПЗ 389]. При этом существенно, что Иванов, как и Соловьев, Гиппиус, Бердяев, Флоренский, ставит вопрос о подлинности любви (ср. также в цикле “Эрос”: “Любви совершенной / Слепого научи!” [CC II 423]). Отличительным признаком подлинной любви является “событийность”. Она есть не аффект, а Дар — Событие (ср. польские *zdarzenie*, *zdarzać się*) и “чудо” и в этом смысле родственна мистерии (означающей для Иванова событие в сфере духа, а для Белого — “жест вознесений” и “дело любви”,²⁶). Ибо и любовь, и мистерия делают необходимым переход через “врата смерти”, ведущий к победе над ней и воскресению личности²⁷. Именно в своей “событийной” сущности любовь есть дело-действие, “тайнодействие”, выявляющее внутреннюю форму слова подвиг. его сакрально-ритуальный смысл. (Ср. в стих. “Жертва”: “На подвиг нам божественного дара / Вся мощь дана <...>” [CC I 743]).

Обнаруженное в концепции Иванова неразрывное единство любви и мужества, Эроса и Тимоса, столь важное и в художественных текстах поэта (ср. стих. “Дерево добродетелей”, где сведены в единое целое: Мужество — Милость — Жизненность. или стихотворение “*Tat twam asi*”, завершенное императивной

заповедью “мужествуй, милуй, живи” [CC I 642]), — находит свое концептуальное подтверждение в наше время в философских работах Пауля Тиллиха, и в целом имеет несомненное герменевтическое значение. В этом единстве содержится предпосылка интерпретации и понимания одной из важнейших мировоззренческих констант творчества Иванова, а именно — идеи “огненного умирания <соумирания> в духе”, диалектического союза любви и смерти²⁸. Ибо “огненная смерть в духе” [ПУ 58], т.е. умирание эмпирического человеческого я в высшем Я (согласно антропологии христианства) и опыт эротического восхождения к Все-Я, к Единому [ПЗ 366] — немыслимы без человеческого “мужества быть” и “мужества быть частью” (термины Тиллиха) исцеляющего Целого, без мужественного воления осуществить Августинов *transcensus sui*, дабы в результате возродить себя в том, что трансцендирует Я — в бытии Ты, в И н о м.

Вышесказанное открывает, как нам кажется, две перспективы исследования: 1) описания поведения любовного я (или любовного мы) в художественных текстах Иванова, как я мужественно рискующего, я щедрого и расточительного (ср. стих. “Нищ и светел”), Я жертвенного, находящего основание для своего мужества, т.е. любви дерзающей, в акте мимесиса, уподобления Солнцу/Христу (ср.: “Уподобься мне в распятье <...>” или “Мы две руки единого креста, / На древо мук воздвигнутого Змия <...>”), с присущим Ему этическим жестом всеобъятия. (“И собою твердь и землю, / Пышно распятый, объемлю: <...>” [CC II 382, 418, 233–4]); 2) перспективу постановки вопроса о том, в какой степени эроэтика Иванова, его этический императив “любви дерзающей” (обязанность жить/любить) предваряет онтологию любви, ее отношение к бытию, т.е. проблему приобретения через Эрос избытка бытия.

Онтология любви. Бытийственный принцип “Ты еси”

Перефразируя Мартина Бубера, мы можем сказать, что эрос является одним из трех “светоносных наименований” (наряду со словом *космос* и *логос*) и выражает “онтологию междучеловеческого”,²⁹ реляцию, соединяющую Я и Ты.

В этой реляции (несколько несимметричной, ибо “любимый для любящего больше, лучше, чем он сам” [CC I 507]) Я, стремя-

щееся к воссоединению, уменьшает “мистическую вину личности, замкнутой в своем одиночестве” [CC IV 53], выпадающей из всечеловеческого единства, и находит положительную формулу своего самоутверждения, свою бытийственную опору в Ты. “Человек становится Я в контакте с Ты”³⁰, — как пишет Мартин Бубер, ибо (по Левинасу) в этой встрече, в отношении Я — Ты признается ценность Другого³¹. Или, как это понимает (раньше Бубера и Левинаса) Иванов: через утверждение бытия чужого, субъектности Ты, Я приобретает истинное бытие. Это и означает отталкивание от “отрицательной формулы самоутверждения”, лживой, люциферианской; изживание отъединения “аз-есмь” [CC III 249], которое совершается в акте любви. Причем подлинность и сущностная природа этого акта определяется принципом “ты еси”, как его условием³²: “Нельзя любить, не сказав любимому: “Ты еси”, — пишет Иванов в “Анима” [CC III 293]. “Акт любви полагает <...> другого не как объект, но как второй субъект <...>” [CC III 304]. Говоря словами из мистерии “Человек”: «“Аз есмь” Премудрость в нас творила./ “Еси” — Любовь» [CC III 238].

Таким образом, в концепции Иванова любовь есть фундаментальный онтологический процесс притяжения, “страстного устремления ко всему, что человек плотью и духом” [ПЗ 344] и обретения Другого. При этом Эрос выражает качество этой любви (ср. в стих. “Психея”: “И Эрос был, — алтарь любви палящей, / И жрец, и бог” [CC I 701]), являя собой “божественное наследие и печать человеческого духа” [ПЗ 24]. Поэтому он есть устремление к утверждению бытия³³ истинного, жажда восхождения к вершинам бытия, его градирование вплоть до постижения Безусловного. В текстах Иванова мы находим несколько вариантных формул, определяющих природу эротически-бытийственного восхождения в духе Платона. Одна из важнейших содержится в статье “Прологемы о демонах” и наиболее полно выражает ивановскую герменевтику любви: “Человек <...> должен сам найти свое другое, как точку опоры, — должен действием любви и той веры, которая уже заключается в любви и ее обуславливает, обрести свое “Ты еси”.

Восходя, как настаивает Платон, по ступеням любви, он учится открывать на каждой новой ступени в любимом причастие бытию истинному и через то вырастает в бытии сам, приобщаясь ему от любимого —

пока, в своем алкании безусловного бытия в другом сущем, не узнает несказанным возгорением своего сердца Единого Возлюбленного, объемлющего, утверждавшего и спасающего в себе все другие любви, и не причастится от него истинному богосыновству” [CC III 248].

Приведенная формула указывает на динамическую и экстатическую природу любви-эроса в понимании Иванова. Эротический акт определяют 3 элемента (что в целом отсылает к концепции Августина, о чем дальше): любящий, любимый и сама любовь (устремление к единству). При этом любовь описывается в категориях алканания, действия (выхождения за пределы собственной имманентности), “вознесения” (ср. выше о “стреле любви”) и обретения (*upio mystica* и рождение “богосыновства”). В итоге эрос-любовь оказывается жаждой и постижением бытия безусловного, обретаемого в другом сущем, так как в относительном *ты* открывается *Ты* вечное (“личина Вечности” [ПЗ 358]). Говоря словами одного из героев “Повести о Светомире”: в упоении, в экстазе любви “открывается нам Бог” [CC I 507]. Это означает, что любовь оказывается единственным реальным опытом ощущения Бога, постигаемого не в произнесенном *credo*, а в любовной отдаче Другому³⁴. (Ср.: “Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь его совершенна в нас” [CC I 507]). В сущности, это означает также, что в культурной памяти героя последнего произведения Иванова (и самого поэта) ожидают тексты-источники, определившие традицию мышления о любви, прежде всего текст библейский (1 Иоанн 4, 12–20), питавший в одинаковой мере мысль Блаженного Августина и Флоренского и приводивший их к выводу о том, что человек любит “Божественной силой, лучащейся от любящего Бога”³⁵. Именно поэтому, как пишет Иванов в ранних статьях, возникших независимо от Флоренского, но с ссылками к Августину, “Через любовь человек восходит к Я макрокосмоса — к Богу” [ПЗ 375]. Любовь есть “Эрос божественного” (ср. прим. 8). Предельная цель любовного восхождения есть воссоединение с Единственным Возлюбленным, как “живым бытийственным принципом” [ПУ 10] и третьим в любви (в мистерии “Человек”). О его присутствии в диалогике любви говорит в наше время Мартин Бубер: «Лишь тогда, когда двое всем, чем каждый из них является, говорят друг другу “это Ты” (Ты еси), пребывает между ними Тот, который есть»³⁶.

Отсюда следует, что именно из-за присутствия “третьего” как источника абсолютного бытия и совершенной любви любящий

“приобщается истинному бытию от любимого, возрастая в бытии сам. <...> Воистину ТЫ ЕСИ, и только потому есмь аз” [CC III 447]. Это означает также, что в любви возможно осуществление “только абсолютного” и что “тварное “Аз” не содержит полноты бытия [CC III 742], оно к нему лишь приобщается обретением своего “Ты еси”. Само слово “приобщается”, столь важное в словаре и мышлении Иванова, подчеркивает бытийственность и реальность эротического акта. Как пишет Бердяев, “Приобщение — реалистично, есть проникновение в первореальность”, т.е. знаменует выход за пределы объективации (где Ты становится Оно, по Буберу), за пределы не-эротического “сообщения”³⁷.

Итак, осуществление абсолютного в любви можно выразить формулой “1 + 1 = 3”, своеобразно присутствующей уже у Платона и Августина³⁸. Ибо динамика и энергетика любви, ее устремленность к единству приводят к увеличению бытия (а не к уменьшению, как говорит бес Серафиму в “Повести о Светомире”). Это согласуется с антропологическим принципом христианства (ср. статью “Древний ужас”). “Сочетаются двое третьим и высшим”, — пишет Иванов [БМ 149]. Единство двоих “разрешается в третьем”, — говорит Бердяев. И далее: “Один и другой приходят к единству не в двойичности, а в троичности, обретают в третьем свое общее содержание, свою цель”³⁹.

Существенно, что (по Иванову) “третий” как “высший” не снижает конкретности, персональной реальности двоих⁴⁰, он их возрождает и объемлет. Приводя к единству двоих в третьем, эрос-любовь, в интерпретации Иванова (и Тиллиха), реализует присущую ему — *ex definitione* — аксиологическую функцию; выражаясь языком Тиллиха, эрос осуществляет единство с тем, кто является носителем ценностей и из-за ценностей, которые тот воплощает⁴¹. В целом он оказывается (в духе Платона) “когнитивным” эросом, приводящим к прозрению “последней реальности, к правде, которая одновременно есть само добро”⁴². Говоря словами Иванова, эрос действует согласно иерархическому порядку реальных ценностей, “образующих в своем согласии божественное всеединство последней Реальности” [БМ 140].

Тем самым эрос-любовь вырывает (выводит) любящего из нереальности небытия и в другом смысле. Напомним в связи с этим, что бытийственный принцип *Es, ergo sum* как условие любви занимает у Иванова место исчезнувшего (статья “Ты еси”) “cogito, ergo sum”, ибо “cogito” и “ego cogito” не объемлют существования

Другого, его экзистенции и его субъектности, а сама природа “sum” есть нечто большее, нежели просто “cogitatio” (мышление)⁴³. Поэтому *Es, ergo sum* симметрично формуле *Amo, ergo sum*. Причем *amo*, постулирующее *es/еси* и спасающее от *non sum* Ариманова-Люцифера небытия (“Люцифер любви не имел” [CC III 742]), спасает любящее Я и от того небытия, которое Иванов выражает формулой *fio, ergo non sum*. “Становление само по себе некрасиво <...>” [CC III 649] — пишет Иванов в письме к Карлу Муту. Становление само по себе лишено красоты как “некоего императива” [ПЗ 397] и как “черты бытия”; красоты воззывающейся над текучими и исчезающими явлениями⁴⁴; но (по Иванову) их озаряющей и “на тяжком пути” (*via dolorosa*) становления — необходимой. Следовательно, становление не есть сущее. Этот мотив, имеющий Августинову генеалогию, пронизывает творчество Иванова и является одной из констант его поэтического мышления. (Ср. в “Копье Афины”: “Fio, ergo non sum. Я становлюсь: итак, не есмь! Жизнь во времени — умирание. Жизнь — цепь моих двойников, отрицающих, умерщвляющих один другого. Где — я?” [ПЗ 52]).

Условием обретения Я как сущего (в его подлинном *esse*) являетсявойной “трансценсус” (термин взят Ивановым у Августина, ср. “Анима”), т.е. трансцендирование текучести времени (Августиново “transcende tempus” как постулат ухода из *vita mortalis*)⁴⁵ и текучести эмпирического я человека (ср. Августиново понятие *dispersio* и понятие “мира” и становления у Иванова); я распыленного “в ритме времени, которое нас взметает и разрывает” [CC III 372], раздробленного в своих отражениях.

“Где я? где я? / По себе я / (Возалкал). / Я — на дне своих зеркал” [CC I 741] — читаем в стихотворении “Fio, ergo non sum”. И далее, в “Кризисе индивидуализма”: “Наше я превратилось в чистое становление, т.е. небытие” [ПЗ 97].

Оба императива: “transcende tempus” и “transcende et te ipsum”, и у Иванова, и у Августина (которому Иванов отдает дань не только в мистерии “Человек”) осуществляются действием любви, алчущей бытия и “рождающей в красоте”. Ибо в эrotическом восторге, преодолевая свое уединение, я трансцендирует тем самым время и пространство (ср.: “С тобой, вне времени, пределов и пространств” [CC I 746]). То время и пространство, которым — по Иванову — человек уединяется, противопоставляя себя “не-я” [ПЗ 369]. Таким образом, любовью он ис-

целяет себя, обретает свой центр через связь с Целым и Вечным, так как “Эрос целого и всеобщего” у Иванова устремлен “на дальнее”, т.е. “сущее во всем” [ПЗ 53])⁴⁶. Сущее и есть “предмет любви” [Там же]. Не-сущее (мэон) — то, что любовью преодолевается. Отсюда слова “Ты еси” <...> Твоим бытием я снова познаю себя сущим. *Es, ergo sum*” [CC IV 502] означают: познаю себя сущим благодаря экстазу любви (*Ato, ergo sum*); благодаря “Эросу рождения и родильного плода в прекрасном”,⁴⁷ Поэтому в своем сокровенном смысле акт любовного трансцендирования оказывается мистерией “Эроса бессмертия”,⁴⁸ мистическим тайнодействием [ПЗ 372], вознесением Психеи Эросом к “свету высшего слияния”, как сказано у Гете⁴⁹ в “Блаженном томлении” (стихотворении, многократно цитируемом Ивановым).

Отмеченная выше параллель между Ивановым и Августином не может быть подробно исследована в настоящей статье. Нам важно, однако, отметить следующее. И Иванов, и Августин в своей концепции любви исходят из учения Платона об Эросе. Несмотря на существующие различия между ними, касающиеся, в частности, понимания ближнего (Другого), Иванова и Августина роднит тот факт, что они обогащают Платонову концепцию новыми элементами. Иванов — своим учением о нисхождении (ср. стих. “Две любви”), Августин — учением о *caritas*. Но оба мыслителя могут быть названы “платониками”. Во всяком случае, Иванов именует Августина “платоником” в тексте 1934 г. Неудивительно, что, рассуждая о подлинном гуманизме и онтологической силе жизни, поэт диалогически соединяет близких ему “друзей-философов” [ПЗ 223] и пишет: «“Душа истины” подлинного гуманизма есть Эрос Платона: а Эрос Платона не есть ли это любовь, переживаемая как непрестанный “трансценсус” себя?» [CC III 439]

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ср.: *Amour et érotisme dans la littérature russe du XX siècle* / Ed. par L. Heller, P. Lang. Berne, 1992; *Matich O. The Symbolist Meaning of Love. Theory and Practice // Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism* / Ed. by I. Paperno and J. D. Grossman. Stanford, 1994. P. 24–50; *Klimowicz T. Eros w literaturze rosyjskiej (Twórczość Walerija Briusowa) // Acta Universitatis Wratislaviensis* 1987.

- Т. XLIV; Русский Эрос: Философия любви в России. М., 1991 (предисл. В. Шестакова).
- ² Бердяев Н. Метафизика пола и любви // Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907. С. 171.
- ³ Письма Д. С. Мережковского и Л. Н. Вилькиной: Публ. В. Н. Быстрова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 238, 243.
- ⁴ Иванов В. Символика эстетических начал // Иванов В. По звездам: Ст. и афоризмы. СПб., 1909. С. 24. Далее ссылки на это издание с указанием страницы даются в тексте: ПЗ. Все подчеркивания, кроме особо оговоренных, мои.
- ⁵ О некоторых аспектах проблемы Эроса у Иванова см.: Пономарева Г. М. Концепция Эроса и “среды” Вяч. Иванова // Литературный процесс и проблемы литературной культуры: Мат. для обсуждения. Таллинн, 1988. С. 87–90; Dawidson P. The poetic imagination of Viacheslav Ivanov. A Russian Symbolist’s perception of Dante. Cambridge, 1989. Р. 100–123; Богомолов Н. Петербургские гафизиты // Михаил Кузмин: Ст. и мат. М., 1995. С. 85–99; Shishkin A. Le banquet platonicien et soufi à la “Tour” pétersbourgeoise: Berdjaev et Vjačeslav Ivanov // Cahiers du Monde Russe. 1994. Vol. XXXV (1–2). Р. 33–48.
- ⁶ В книге А. Эткинда, позаимствовавшего ее название у Иванова, контексты и истинное значение Эроса *Невозможного* не раскрыты, равно как и богатый смысл ивановской концепции дионасизма, а также вдохновляющей поэта “Платоновой идеи” любви, отнюдь не сводимой только к ее “части” — рассказанному Аристофаном мифу об андрогине (ср.: “<...> совершенное дву- или бесполое целое <...>” — Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. М., 1994. С. 49–54 и др.).
- ⁷ Иванов В. Мысли о символизме // Труды и дни. 1912. № 1. С. 4. Далее: МС.
- ⁸ См.: “Пафос реалистического символизма: через Августиново “transcende te ipsum” к лозунгу: a realibus ad realiora. <...> Это — пафос мистического устремления к Ens realissimum, Эрос божественного” (ПЗ 277. Подчеркнуто Ивановым).
- ⁹ См.: “Платоново определение путей любви — определение символизма” (МС 4).
- ¹⁰ Иванов В., Гершензон М. О. Переписка из двух углов. Пб., 1921. С. 13. Далее в скобках: ПУ.
- ¹¹ См.: “Символизм связан с целостностью личности <...>” (МС 7).

- ¹² В статье резюмируется содержание одной из глав книги, готовившейся к печати.
- ¹³ Иванов В. О любви дерзающей // Факелы: Кн. вторая. СПб., 1907. Здесь и далее цит. по публ. в ПЗ.
- ¹⁴ Об отношении этики и эротики см. в письме Зиновьевой-Аннибал к Замятиной от 17 февраля 1907 г., приводимом Богомоловым (Русские гафизиты. С. 95). О понимании этики символистами, “этическом принципе, определяемом со стороны красоты”, восходящем не к формам морали, а “к некоторому трансцендентному долженствованию”, пишет Белый (См.: Белый А. Символизм. München, 1969. С. 465).
- ¹⁵ См.: “Поистине, три ипостаси Жизни: Смерть, Начало, Любовь” (ПЗ 366).
- ¹⁶ “Не уставай зacinать, не переставай умирать” — вот чего требует от человека Любовь, которая и в микрокосме, как в Дантовом небе, “движет солнце и другие звезды” (ПЗ 366).
- ¹⁷ Подробнее о символике солнечности см.: Cymborska-Leboda M. Dramat pod znakiem Dionizosa: Myśl estetyczna a poetyka gatunku symbolistów rosyjskich. Lublin, 1992. S. 130–138 и др.
- ¹⁸ Как отмечает Тиллих, согласно Новому Завету, “участие в Логосе” обозначает и любовь, и истину (Tillich P. Pytanie o Nieuwarunkownie. Krakow, 1994. S. 122).
- ¹⁹ Steiner R. Le sens de l’amour dans le monde: Morale anthroposophique. Paris, 1977. Р. 108. Там же (Р. 34–35) Штейнер определяет любовь как “моральное солнце универсума”.
- ²⁰ См., напр.: Бердяев Н. Метафизика пола и любви. С. 161, 170.
- ²¹ См.: Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М., 1995. С. 9.
- ²² Там же. С. 10–11.
- ²³ Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. I. С. 528. Далее в скобках: СС, с указанием тома и страницы.
- ²⁴ Lūvinas E. O Bogu, ktryu nawiedza myśl. Kraków, 1994. S. 235.
- ²⁵ Ср.: “Через тайну любви мы касаемся тайны жертвы, тайны сопричастия с Бессмертным Эросом” (Чулков Г. Тайна любви // Факелы: Кн. вторая. СПб., 1907. С. 227); о парадигме Жертвы у символовиков подробнее см.: Cymborska-Leboda M. La notion du sacrifice dans l’oeuvre des symbolistes russes // Théâtre de la cruauté et théâtre de l’espoir. Paris, 1996. Р. 149–163.
- ²⁶ Белый А. Воспоминания о Штейнере. Paris, 1982. С. 236.
- ²⁷ См.: Иванов В. Борозды и межи: Опыты эстетич. и критич. М., 1916. С. 144. Далее в скобках: БМ. Ср. также о смертельной и исцеляющей стреле любви, возносящей “любимого через врата смерти к высшей жизни” в “Anima” (СС III 287).

²⁸ В статье “Новые маски” диалектика этой связи выражена уже на лексическом уровне текста: “добрый садовник Эрос” и “Смерть — садовник”. Эта связь подкрепляется сопоставлением статьи со стихотворением о Скрябине. Ср.: “<...> ибо все цветы воскрешает он <садовник — Эрос> на своих вневременных пажитях” [ПЗ 63] и “Когда рукой Садовника внезапно был сорван нежный цвет и пересажен <...> на лучшую иного мира пажить <...>” [CC III 531–2]. “Пересаживая” в иной мир, оба “Садовника” связаны с трангрессивным хронотопом, отличным от “мира граней”.

²⁹ Buber M. Ja i Ty. Warszawa, 1992. S. 150.

³⁰ Ibid. S. 56.

³¹ Lÿvinas E. O Bogu, ktyry nawiedza myśl. S. 230. Тексты Бубера (подчеркивающего свою близость Иванову) и особенно Левинаса вводят нас в проблематику взаимосвязи этики и онтологии, столь важной для Иванова, осознание которой определяет нашу возможность правильно читать поэта — его тексты об Эросе-любви.

³² В сохранившемся отрывке статьи Иванова 1910 гг. “Есть для человека три предмета веры...” поэт говорит о трех залогах: залогом ответственности Я служит “ты еси”. Там же, говоря о “кольце Любви”, которое “воистину есть”, довольно только человеку “действительно полюбить”, Иванов пишет: “Ибо только любовь учит нас бытию любимого” (РГБ. Ф. 109. К. 5. Ед. хр. 30. Л. 2).

³³ Согласно Тиллиху, “l’être n’est pas actualisé sans l’amour <...>” (“бытие не может быть актуализировано без любви”), сама же любовь определяется следующим образом: “<...> l’amour dans toutes ses formes est la tendance vers la réunion de ce qui est séparé <...>” (“во всех своих формах любовь есть стремление к воссоединению того, что отлучено”) — Tillich P. Amour: Pouvoir et justice. Paris, 1964. Р. 21, 23.

³⁴ Ср. понятие “*me voici*” у Левинаса: “Я есмь — для Другого”, религиозную формулу “исконного дативуса”, обозначающую ответственность за ближнего и своеобразное бытие — Другого, позволяющее “слышать самого Бога”. Таким образом этика становится “эмфазом онтологии” (Lÿvinas E. O Bogu, ktyry nawiedza myśl. S. 136, 157).

³⁵ Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1990. С. 86.

³⁶ Buber M. Ja i Ty. S. 238.

³⁷ Бердяев Н. Философия свободного духа. М., 1994. С. 276.

³⁸ Ср.: Droz G. Les mythes platoniciens. Paris, 1992. Р. 109; Augustyn Św. O Tryjcy Świętej. Kraków, 1996. S. 285.

- ³⁹ Бердяев Н. Философия свободного духа. С. 135. О двух значениях триады (троичности) в любви пишет Чулков (Тайна любви. С. 223). Ср. также: Флоренский П. Столп и утверждение истины. С. 75.
- ⁴⁰ Ср.: “Любовь есть реальное взаимодействие между реальными жизнями, нет любви, — нет и чувства реальности прежде любимого бытия” (CC III 257).
- ⁴¹ Tillich P. Amour: Pouvoir et justice. Р. 24. Ср. об аксиологическом аспекте любви у Плутарха. Говоря о подобии солнца и любви, он указывает и на их отличие: “<...> tandis que le soleil éclare les bonnes choses comme les mauvaises, l’amour, lui, ne répand sa lumière que sur le beau en poussant les amants à ne contempler que le beau, à n’aspirer qu’à lui en négligeant tout le reste” (*Plutarque. Erotikos: Dialogue sur l’amour*. Paris, 1995. Р. 77): “<...> в то время как солнце освещает хорошее (вещи) и нехорошее (некрасивое), любовь простирает свой свет только на прекрасное, побуждая любящих к созерцанию только красоты, к устремлению только к ней и к пренебрежению всем остальным”).
- ⁴² Tillich P. Pytanie o Nieuwarunkowane. Krakw, 1994. S. 122.
- ⁴³ Ср.: Тиллих П. Избранное. Теология культуры. С. 99. См. также утверждение Иванова в статье “Ты еси” [ПЗ 426], а также в комментарии к мелопее “Человек”: ““Аз есмь” должно значить: “Аз” есть Сущий (“Есмь”) во мне, сыне <...>. Логическая связка “есть” знаменует связь любви; без любви нет творчества, и сама любовь уже творчество. Творчески слышит она откровение “Аз Есмь” <...>” [CC III 742].
- ⁴⁴ См. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 563. Ср. у Иванова: “<...> со времен Платона красота необходима в целях теодицеи и метафизической гармонии <...>” (ПЗ 223).
- ⁴⁵ Arendt H. Le concept d’amour chez Augustin. Paris, 1996. Р. 15, 28.
- ⁴⁶ Ср. определение эроса у Бубера: “<...> there is eros for him <for man. — M. C.-L.> only when beings become for him image of the eternal, and community with them becomes revelation <...>” (*Buber M. I and Thou*. New York, 1970. Р. 149).
- ⁴⁷ Лосев А. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 51. Подчеркнуто автором.
- ⁴⁸ Platon. Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon. Warszawa, 1984. S. 110–117.
- ⁴⁹ Ср. французский перевод соответствующей строки, выявляющий одновременно смысл мистического брака и рождения: “Et un désir nouveau t’entraîne / Vers un plus haut hymenée” (Цит. по: *Bachelard G. La flamme d’une chandelle*. Paris, 1961. Р. 49).